

МИТРА ПАПИЛИН

ОТМЕТКА



▽ 15,74

роман

Митра Папилин

Отметка

«Автор»

2026

Папилин М.

Отметка / М. Папилин — «Автор», 2026

Весна 1957 года. Нижнюю Волгу готовят под водохранилище. Инженер-геодезист Павел Ларионов приезжает в село Кривая Лука, чтобы провести по улицам и огородам черту затопления: дома ниже отметки шестнадцать метров подлежат переносу. Он живет у вдовы Аграфены Кочетковой, которая пятнадцать лет ждет сына, пропавшего без вести подо Ржевом. Порог ее дома оказывается на двадцать шесть сантиметров ниже черты. Цифру в журнале легко исправить, и никто этого не проверит. Ларионов прошел войну артиллерийским топографом и привык думать, что точность спасает от подлости. В Кривой Луке он впервые спрашивает себя, может ли правильно сделанная работа не сделать никому добра. Роман охватывает почти тридцать лет: переезд села на гору, ответ из военного архива, засуху, когда вода отступила и открыла старые улицы, и карту, составленную в одном экземпляре для тех, кто будет искать.

© Папилин М., 2026

© Автор, 2026

Содержание

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ	5
Глава I	6
Глава II	8
Глава III	10
Глава IV	12
Глава V	14
Конец ознакомительного фрагмента.	15

Митра Папилин

Отметка

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Кривая Лука

Глава I

Эта карта лежит у меня в нижнем ящике письменного стола, под старыми квитанциями за свет и школьными тетрадами внука, которые он забыл у меня, когда гостил прошлым летом, и которые я почему-то не решаюсь выбросить. Она склеена из четырех листов ватмана. Края у нее пожелтели, на сгибах тушь осыпалась, и название одной улицы я теперь восстанавливаю по памяти. Ни в одном архиве ее нет. У нее нет инвентарного номера, нет грифа, нет подписи главного инженера и штампа экспедиции. По всем правилам, которым я служил сорок лет, это вообще не документ, а частная бумага, рисунок, вроде тех, что дети рисуют к празднику. Пользоваться ею нельзя. Места, которое на ней изображено, больше не существует: туда нельзя ни доехать, ни дойти, и уже двадцать шестой год над ним стоит вода.

Я сделал ее осенью пятьдесят седьмого года, за три ночи, в чужой избе, при керосиновой лампе. Ни разу потом я не пожалел о потраченном времени, хотя много раз спрашивал себя, для чего она была нужна и кому. Сейчас мне шестьдесят девять лет. Я на пенсии, у меня болят колени, которые сорок полевых сезонов простояли возле штатива, и у меня наконец появилось время, чтобы попробовать ответить на этот вопрос. Не уверен, что отвечу. Но я хочу хотя бы записать по порядку, как все было, пока помню фамилии и цифры.

Профессия моя называется скучно: инженер-геодезист. Люди обычно плохо представляют, чем мы заняты, и когда я объяснял это соседям по купе, они кивали с тем вежливым лицом, с каким кивают бухгалтеру. Мы измеряем землю. Мы определяем, где лежит каждая точка и на какой высоте она находится над уровнем моря. В нашей стране все высоты считают от Балтики. В Кронштадте, на устое моста через Обводный канал, врезана медная доска с чертой, и от нуля этой черты отсчитано все, что у нас есть: вершины гор, дно шахт, отметки рельсов, крыши, колодцы, пороги домов. Когда я был студентом, нам рассказывали об этой доске так, как в другое время рассказывали бы о мощах. Я долго мечтал ее увидеть, а когда в сорок девятом году оказался в Ленинграде по делам треста, так и не выбрался в Кронштадт. Сначала не хватило дня, потом пропуска. Я до сих пор ее не видел. Мне теперь кажется, что это даже правильно: в нее лучше верить на расстоянии.

В молодости мне нравилось, что эта работа честная. Я говорю это без иронии. Нивелирный ход либо сходится, либо нет. Невязка либо укладывается в допуск, либо ты идешь и перемериваешь весь участок заново, хоть бы и пятнадцать километров по пашне под дождем. Никакой начальник не может приказать цифре быть другой, а если прикажет, то рано или поздно это вылезет: на стройке, на трассе, в фундаменте, который пойдет трещиной. В этой простоте было для меня что-то утешительное. Я вырос в тридцатые годы и уже тогда видел, как слова меняют значение от одного собрания до другого, как человек, которого в марте хвалили, в мае оказывается кем-то совсем другим. А отметка репера оставалась отметкой репера. Я думал, что нашел себе место, где нельзя сделать подлость, даже если захочешь. Мне казалось, что я придумал это сам, хотя, наверное, так думали многие в моем деле.

Война показала мне, что это не так. Но понял я это не тогда, на войне, а позже, в пятьдесят седьмом, и понял не до конца. Может быть, и сейчас понимаю не до конца. Это одна из причин, почему я пишу.

Карта, о которой я говорю, изображает село Кривая Лука, стоявшее на правом берегу Волги, ниже Камышина, в том месте, где коренной берег отходит от реки и между ним и водой лежит широкая пойма с садами, озерками и старицами. Село было большое, старое, в нем было двести сорок дворов, церковь без креста, в которой держали зерно, школа-семилетка, две мельницы, из которых работала одна, кладбище на песчаном бугре и сады, по которым это село знали во всей округе. Кривская вишня. Ее возили баржами в Саратов и в Сталинград. Весной, когда сады цвели, с реки казалось, что по берегу лежит низкое белое облако.

Сейчас на этом месте Волгоградское водохранилище. Нормальный подпорный уровень его установлен на отметке пятнадцать метров. Это означает, что все, что лежало ниже этой высоты над кронштадтским нулем, должно было уйти под воду, и все, что лежало немного выше, в полосе подтопления и волнобоя, тоже подлежало переносу. Провести эту черту на местности, вбить колья и составить опись того, что оказывалось по ту и по эту сторону, было нашей работой.

Я расскажу об этом по порядку. В конце я расскажу о лете семьдесят пятого года, когда после двух засушливых лет вода в водохранилище упала так низко, что открылись отмели, которых никто не видел с самого заполнения, и я поехал туда с этой картой. Но сначала надо рассказать про весну пятьдесят седьмого, про Аграфену Тимофеевну Кочеткову и про двадцать шесть сантиметров.

Глава II

Назначение в Кривую Луку я получил в начале апреля, в тот день, когда в Саратове сошел последний снег и по улице Чапаева текли такие ручьи, что трамвай шел по ним, как пароход. Главный инженер отделения, Сергей Кондратьевич Мелентьев, вызвал меня к себе, разложил на столе склейку планшетов и провел по ней пальцем от Камышина вниз по течению.

— Вот здесь у тебя два села, — сказал он. — Ерзовка и Кривая Лука. Граница по ним проведена по старой съемке, а старая съемка сам знаешь какая, тридцать восьмого года, мензулой, половина реперов утрачена. Нужно пройти по жилой застройке и дать каждому строению отметку. Каждому, Павел Ильич. Чтобы потом ни одна комиссия не придралась.

Я спросил, почему именно эти два села. Он ответил, что по ним больше всего жалоб. Люди пишут в район, в область, в Москву, что им неправильно определили, кто уезжает, а кто остается. В Кривой Луке один старик написал самому Ворошилову. Мелентьев сказал это без улыбки, как говорят о погоде, и добавил, что из Москвы письмо спустили обратно в область с резолюцией «разобраться», и теперь разбираться будем мы.

— Ты у нас самый аккуратный, — сказал он. — Тебе и карты в руки.

Я не знаю, была ли это похвала. У Мелентьева все звучало одинаково. Это был человек лет шестидесяти, строивший еще ДнепрогЭС и по-своему уставший от всего на свете, кроме работы. Я уважал его и немного побаивался. Он никогда не повышал голос и никогда ничего не прощал.

Дома я сказал Нине, что уезжаю на все лето. Она кивнула, не отрываясь от шитья. Мы были женаты одиннадцать лет, и за эти одиннадцать лет я провел дома, если сложить все зимы, может быть, пять. Нина работала бухгалтером на мелькомбинате, сама растила сына и привыкла к этому так, как привыкают к климату. Она не упрекала меня. Я думаю, что если бы она упрекала, нам обоим было бы легче. Она только спросила, куда. Я сказал: под Камышин, на затопление. Она сказала: а, это где все переселяют. Потом спросила, успею ли я до отъезда поменять кран в ванной, который тек с января. Я успел.

Сыну Володе было тогда десять лет. Он собирал марки и хотел быть летчиком. Меня он знал плохо и немного стеснялся, как стесняются гостя, который приезжает надолго, но все равно уезжает. Перед отъездом я показал ему, как по компасу найти север, и мы полчаса ходили по двору и искали север за сараями. Он спросил, зачем его искать, если он и так всегда там. Я не нашел, что ответить, кроме того, что север нужно найти, чтобы от него отсчитать все остальное. Он кивнул и потом весь вечер ходил по квартире с компасом и объявлял: кухня на востоке, мама на юге. Нина засмеялась. Я помню этот вечер, потому что таких вечеров у нас было немного.

Мне надо сказать здесь несколько слов о себе, потому что без этого многое в дальнейшем будет непонятно.

Я родился в пятнадцатом году в селе Ключи Вольского уезда, в семье, которую потом, в двадцатые годы, называли середнячком. Мне было шесть лет, когда в Поволжье начался голод. Из того года я помню немного: мать, которая режет хлеб на такие тонкие ломти, что через них видно окно; отца, который уходит утром в Вольск на подводе и возвращается через три дня пешком, без подводы и без лошади; двух младших сестер, которых потом не стало. Весной двадцать второго года отец увез нас с матерью в Саратов, к своему брату, работавшему на железной дороге, и больше мы в Ключи не возвращались. Отец устроился в депо и через несколько лет перестал говорить о деревне совсем, будто ее не было. Мать говорила до самой смерти. Она говорила, что у нее там остались две могилки, и просила, чтобы я, когда вырасту, съездил и поправил кресты.

Я съездил туда в пятидесятом году. Не нарочно: нашу партию послали на изыскания под Вольск, и Ключи оказались в восьми километрах от трассы. Я отпросился на полдня и пошел пешком. Села не было. Его никто не затоплял и не сносил, оно исчезло само: в тридцатые годы людей из него вывезли, кого куда, потом во время войны оставшиеся ушли, и к пятидесятому году на месте Ключей были поле, лебеда, три старых вяза и фундамент церкви, заросший полынью. Кладбища я не нашел. Я ходил по полю два часа, по памяти матери, которая рассказывала, что кладбище было за церковью, на склоне к роднику, но склонов там было несколько, а родника не было ни одного. Потом я вернулся в партию и никому ничего не сказал. Матери к тому времени уже не было в живых, и сказать было некому.

Я не думал об этом, когда получал назначение в Кривую Луку. Я вообще долго об этом не думал: мне казалось, что это относится к другой жизни, к детству, к той части меня, которая осталась в двадцать втором году на подводе. Я пишу об этом сейчас, потому что теперь, задним числом, вижу, что это имело отношение ко всему, что случилось потом. Но тогда, в апреле пятьдесят седьмого, я укладывал в чемодан журналы, запасные нити для сетки нивелира, резиновые сапоги и шерстяные носки, которые связала Нина, и думал только о том, успеем ли мы пройти оба села до уборочной, когда в колхозах не будет ни людей, ни машин.

Накануне отъезда Мелентьев вызвал меня еще раз, уже вечером, когда в отделе никого не было. Он спросил, знаю ли я, что в этих селах люди живут уже по третьему году как на вокзале, и что приезжие с нивелиром для них хуже милиционера. Я сказал, что знаю. Он помолчал и сказал:

— Ты там не объясняй им ничего лишнего. Меряй, записывай, уезжай. Кто начинает объяснять, тот потом начинает обещать.

Я сказал, что понял. Он посмотрел на меня поверх очков так, будто не очень поверил, и отпустил.

Утром двадцатого апреля Васюков подогнал полуторку к подъезду. Зоя уже сидела в кузове на ящике с инструментом, в ватнике и в косынке, и махала мне рукой. Нина вынесла мне сверток с пирожками. Володя стоял у окна на втором этаже и держал в руке компас. Когда машина тронулась, я посмотрел вверх, и он показал мне рукой куда-то вбок. Наверное, на север.

Глава III

В апреле пятьдесят седьмого мне было сорок два года. Я работал в саратовском отделении изыскательского института, числился старшим инженером и третий сезон ездил на ложе будущего водохранилища. Основные работы там были сделаны раньше, еще до меня: проектную отметку давно утвердили, границы зоны затопления нанесли на планшеты, и по ним уже шло переселение первых сел. Нашей партии поручили то, что в отчетах называлось уточнением и закреплением границы на местности в пределах населенных пунктов. Проще говоря, мы шли по готовой линии и перемеряли ее там, где жили люди, потому что на планшете в масштабе один к десяти тысячам разница в полметра не видна, а на земле она проходит между двумя домами или прямо через огород.

Партия у меня в тот сезон была маленькая. Техник Зоя Лаптева, двадцать два года, выпускница саратовского геодезического техникума, комсомолка, первый год на производстве. Шофер Васюков с полуторкой, которого нам давали на переезды и который все остальное время лежал под своей машиной или уходил рыбачить. И речник, которого полагалось нанимать на месте. В Кривой Луке нам дали Гришку Шестакова, четырнадцати лет, сына вдовы, худого, белобрысого, с отцовской пилоткой на голове. Пилотку он не снимал ни в жару, ни в дождь. Председатель колхоза Фомичев сказал про него, что парень смысленный, семилетку кончил, а в колхозе ему пока все равно делать нечего, только гусей пасти.

Мы приехали в Кривую Луку двадцатого апреля, под вечер. Дорога с коренного берега спускалась к селу длинным пологим взвозом, и сверху все было видно разом: крыши, крытые где железом, где камышом, белая церковь без креста, прямые улицы, сады, которые еще не зацвели, но уже стояли в той зеленой дымке, какая бывает за неделю до цвета, а за садами полая вода. В тот год вода была большая, пойма стояла залитой до самых огородов, и Волга казалась не рекой, а озером, у которого не видно другого берега. Зоя привстала в кузове и сказала, что вот так здесь и будет всегда, только лучше, потому что без садов и без изб. Она сказала это без всякой злости, с удовольствием, как говорят о хорошей погоде.

Я ничего ей не ответил. Мне было неловко перед Васюковым, который вырос в похожем селе под Балаковым и которое тоже теперь сносили. Но Васюков только сплюнул в окно кабины.

Квартиру нам определил председатель. Меня и Зою он поставил к Аграфене Тимофеевне Кочетковой на нижней улице, которая называлась Садовой, а Васюков сам устроился у какого-то дальнего родственника, которого нашел за полчаса. Дом у Кочетковой был пятистенный, на высоком кирпичном цоколе, с резными наличниками, выкрашенными голубым, и с глухим забором, за которым стояли вишни. Сад спускался прямо к старице. Для одинокой старухи дом был велик, и видно было, что строили его на большую семью.

Аграфене Тимофеевне было тогда шестьдесят четыре года. Она была небольшая, прямая, с темным лицом, на котором кожа держалась туго, как на барабане, и только у глаз собиралась в мелкую сетку. Одета она была так, как одевались пожилые женщины в тех местах: темная юбка, кофта, платок, завязанный под подбородком. Нас она встретила спокойно, без подобострастия и без неприязни, спросила, едим ли мы пшеничную кашу, и показала, где спать. Мне досталась горница, Зое маленькая комната за печкой. Третья комната, в передней половине, была закрыта, и в первый же вечер хозяйка сказала, что туда ходить не надо, там Мишины вещи.

Кто такой Миша, я узнал на другой день.

Работа у нас начиналась рано. Мы вставали в пять, пили чай, который хозяйка ставила еще раньше, и уходили к реперу. Ближайший опорный знак был заложен в прошлом году на выгоне за кладбищем: бетонный монолит, закопанный в землю ниже глубины промерзания, с чугунной маркой, на которой выбит номер. От него мы вели нивелирный ход вниз, к селу, и

дальше по улицам, закрепляя через каждые сто метров точку и отмечая высоту каждого дома, каждого колодца, каждой постройки, которая попадала в спорную полосу. Спорной полосой считалось все между четырнадцатью и семнадцатью метрами. Ниже четырнадцати все было ясно и без нас: эти дома переносили в любом случае. Выше семнадцати тоже было ясно. А между ними каждая отметка решала, остается человек на месте или едет в новый поселок на коренном берегу.

Правило было такое. Нормальный подпорный уровень пятнадцать метров. К нему прибавляли метр на подпор и на нагон волны при сильном ветре, и граница переноса строений проходила по отметке шестнадцать. Строение, у которого отметка пола или порога оказывалась ниже шестнадцати, подлежало сносу или переносу. Выше можно было оставаться. Правило это не я придумал и не мои начальники. Оно было выведено из гидрологических расчетов, из многолетних наблюдений за ветрами на Волге, из того, какие волны бывают на широкой воде в октябре, и я считал его разумным. Я и сейчас считаю его разумным.

Гришка оказался хорошим речником. Это не так просто, как кажется. Рейку надо держать строго отвесно, по уровню, не качать, не ставить на камешек или на комок глины, а ставить на башмак или на колышек, и не отвлекаться. Большинство мальчишек через час начинают скучать, вертеться, махать рейкой, как пикой. Гришка не скучал. Он стоял с рейкой так, будто караулил что-то важное, и смотрел на меня через все расстояние, ожидая знака. На второй день он спросил, что я вижу в трубу. Я дал ему посмотреть. Он долго смотрел на рейку, которую держала Зоя, на ее черные и красные шашки, на нити сетки, а потом сказал, что Зоя в трубе стоит вверх ногами. Я объяснил, почему. Он выслушал и спросил, можно ли в эту трубу увидеть, где будет вода. Я сказал, что можно, если знать, куда смотреть. Он спросил: а наш дом будет в воде? Я спросил, где его дом. Он показал на Заречную улицу, самую нижнюю, у старицы. Я сказал, что да, будет. Он кивнул и больше ничего не спросил, и до вечера держал рейку так же аккуратно, как с утра.

Вечером, когда мы вернулись, Аграфена Тимофеевна накрыла на стол и, пока мы ели, стояла у печки, скрестив руки. Потом спросила меня, до какого места дойдет вода.

— Мы пока не знаем точно, — сказал я. — Для этого и меряем.

— Мой дом как? — спросила она.

Я сказал, что до Садовой мы дойдем через неделю, может, дней через десять, тогда и будет видно. Она кивнула. Потом, помолчав, сказала, что ей надо бы знать заранее, потому что ей надо написать сыну, где она будет. Я спросил, где сын. Она сказала:

— Миша у меня пропал без вести. В сорок втором году, в августе. Последнее письмо было из-под Ржева.

Сказала она это ровно, как говорят о давно известном, и тут же добавила, что Миша, если вернется, придет сюда, к этому дому, потому что другого адреса у него нет, а если дома не будет, то он не будет знать, где ее искать.

Зоя подняла голову от тарелки. Я видел, что она хочет что-то сказать, и понимал что. С сорок второго года прошло пятнадцать лет. Я слегка качнул головой, и она промолчала. Хозяйка ничего не заметила или сделала вид. Она спросила, подложить ли еще каши, и больше в тот вечер о сыне не говорила.

Глава IV

В конце апреля зацвели сады. Это случилось за одну ночь, как бывает после первого по-настоящему теплого дня, и утром, когда мы вышли из дому, Кривая Лука была другой. Я много где работал и видел цветущие сады и в Молдавии, и под Мичуринском, но такого не видел. Вишни стояли по обе стороны каждой улицы, в каждом дворе, вдоль каждой межи, и цвели все сразу, и лепестки лежали на дороге, как крупа. Зоя сначала шла молча, а потом сказала, что жалко, конечно, но в новом поселке тоже посадят. Гришка, который шел впереди с рейкой на плече, обернулся и посмотрел на нее, но тоже ничего не сказал. Он вообще говорил мало.

В один из этих дней, в воскресенье, когда мы не работали, Аграфена Тимофеевна открыла Мишину комнату, чтобы проветрить. Она делала это, как я потом узнал, каждую весну и каждую осень. Я сидел на крыльце и чинил штатив, у которого разболталась ножка, и через открытую дверь видел, как она снимает с окна одеяло, которым оно было завешено, открывает раму, выносит на солнце подушку и перину. Потом она позвала меня помочь снять с гвоздя тяжелую раму с фотографиями. Я вошел.

Комната была маленькая, чистая, с железной кроватью и столом у окна. На столе лежали книги, аккуратной стопкой: «Остров сокровищ», задачник по алгебре, «Справочник речника» с оторванной обложкой, какая-то брошюра о дизельных двигателях. На стене висела карта Союза, школьная, выцветшая на сгибах, и на ней кто-то провел карандашом линию по Волге от Камышина до Астрахани, а потом через Каспий в Баку. Под картой на полочке стояла модель парохода, выструганная из липы и выкрашенная белой краской, с двумя трубами, которые были сделаны из винтовочных гильз. Я наклонился посмотреть, и Аграфена Тимофеевна сказала, что это Миша делал, когда ему было тринадцать лет, и что пароход называется «Кривая Лука», хотя такого парохода нет. Он хотел работать на реке. Перед войной он учился в речном училище в Горьком и приезжал домой на каникулы в белом кителе. В сорок первом его взяли из училища.

На фотографии в раме, которую я снял с гвоздя, он был снят вместе с отцом: высокий парень с широкими скулами, коротко стриженный, в том самом белом кителе. Отец рядом с ним был ниже на голову. Про отца Аграфена Тимофеевна сказала, что он умер в тридцать девятом году от сердца, прямо в саду, когда окапывал вишни. Похоронен на бугре.

Я повесил раму обратно и вышел, и после этого довольно долго не мог работать. Дело было не в этой комнате и не в пароходе с гильзами вместо труб, хотя и в них тоже. Дело было в том, что я вспомнил Дубровку.

Я не люблю рассказывать про войну и не буду рассказывать много. Всю войну я прослужил в артиллерии, в топографическом взводе, сначала дивизиона, потом бригады. Нашей работой было определять координаты: где стоят наши батареи, где стоят немецкие, где находятся цели. Топографы привязывали огневые позиции к пунктам геодезической сети, вычисляли дирекционные углы и дальности, а по ним вычислители готовили исходные данные для стрельбы. Это та же самая геодезия, которой я учился в институте, только цифры оказываются в конце не на плане, а в снаряде. Меня за нее ценили. Я считал быстро и почти не ошибался, и у меня было два ордена, которые я получил именно за это: за быстроту и за то, что почти не ошибался.

В сентябре сорок третьего года, под Смоленском, наша бригада поддерживала наступление стрелкового корпуса. Немцы держались в деревне Дубровка, стоявшей на высоте над ручьем, и оттуда простреливали все подходы. Деревню надо было взять, и ее взяли после двухчасовой артиллерийской подготовки. Данные для этой подготовки вычислял я. Я привязывал цели по карте и по засечкам с наблюдательных пунктов: крайний дом с пулеметом, церковную ограду, где стояли минометы, овраг за деревней. Я все сделал хорошо. Стрельба была точной,

и деревню взяли с небольшими для того времени потерями. Командир бригады потом хвалил нас на разборе.

На другой день я проезжал через Дубровку. От нее осталось немного. Во дворах, в погребках, куда жители прятались от боя, санитары и похоронная команда находили людей, которые оставались в деревне при немцах. Я видел, как из одного погреба выносили женщину и двух детей. Женщина была в валенках, хотя был сентябрь. Я запомнил эти валенки, не лица. Мне сказали, что таких погребов было восемь или девять.

Я не стрелял по этим людям. Я не знал, что они там. Никто не знал, а если и знал, то все равно деревню надо было брать, и никакой другой войны у нас не было. Я говорил это себе сразу, в тот же день, и потом много раз. Все это правда. Я и теперь думаю, что это правда. Но тогда, стоя возле того погреба, я впервые подумал о том, что цифры, которые я вычислял, всегда имели в конце какое-то место на земле, и что я этих мест никогда не видел. Я видел квадраты на карте, условные знаки, домики, которые рисуют в легенде: черный прямоугольник — жилое строение огнестойкое, белый прямоугольник — жилое строение неогнестойкое. Я знал про Дубровку, что в ней тридцать один двор, одна церковь, кладбище, колодец. Про валенки я не знал.

После войны я пошел в гражданские изыскания. Мне предлагали остаться в армии, в военно-топографической службе, и это было выгодно, но я отказался. Я объяснял себе и другим, что хочу строить, а не разрушать, что мои цифры теперь пойдут в фундаменты мостов и в оросительные каналы. Это тоже была правда. Строили мы много, и я этим гордился. Мне казалось, что я от Дубровки ушел.

А в пятьдесят седьмом году, в Мишиной комнате, я стоял и держал в руках раму с фотографией и вдруг понял, что делаю ту же самую работу. Я опять вычислял, какое место на земле перестанет быть. Только теперь я жил в этом месте, ел кашу этой женщины и видел ее сына на фотографии. Ничего подобного с Дубровкой, конечно, не было: здесь никто не умирал, людей переселяли в новые дома, им платили компенсацию, им давали лес и машины для перевозки, и все это делалось ради воды, электричества и хлеба для миллионов людей. Я не собирался ставить знак равенства между войной и строительством. Но сходство было не в цели, а в самом положении человека, который знает про место все, кроме того, что ему было бы тяжелее всего знать. И на этот раз мне не удалось про это не знать.

Вечером я долго сидел на крыльце. Зоя вышла и спросила, почему я не иду ужинать. Я сказал, что сейчас приду. Она постояла и сказала, что хозяйку, конечно, жалко, но нельзя же из-за одной старушки держать все море. Она сказала это как шутку, чтобы меня развеселить, и я засмеялся, потому что она хорошая была девушка и хотела как лучше. Но я еще долго думал про эти слова.

Глава V

В последний день апреля была Радоница. Я узнал об этом утром, когда мы вышли на работу, а по дороге к бугру навстречу нам уже шли люди с узелками и корзинами. Шли семьями, старики впереди, дети сзади, женщины в белых платках, которых я до того ни разу не видел на улице. Гришка сказал, что это поминать и что в этот день на бугре бывает все село, даже те, кто в церковь не ходил никогда, даже председатель. Работать на выгоне в такой день было неловко: наш ход шел в ста метрах от кладбищенской ограды. Я сказал Зое, что мы займемся обработкой журналов, и мы вернулись.

Аграфена Тимофеевна собиралась на бугор. Она уложила в корзину крашеные яйца, пироги с вишней, которые пекла накануне, и бутылку, заткнутую бумажной пробкой. Потом посмотрела на меня и спросила, не пойду ли я с ней, потому что корзина тяжелая. Корзина была не тяжелая. Я пошел.

Кладбище на бугре было старое, с железными и деревянными крестами, с несколькими каменными плитами купеческих времен, на которых уже нельзя было прочитать надписей, и с сиренью, которая еще не распустилась. Люди сидели у могил прямо на земле, расстелив платки, ели, поминали, переговаривались через ограды с соседями. Никто не плакал в голос. Было похоже скорее на то, как в деревне собираются на лугу на праздник, только говорили тише. Могила Кочеткова Степана Егоровича была под березой, с железным крестом, покрашенным той же голубой краской, что и наличники. Аграфена Тимофеевна постелила платок, разложила яйца и пироги, налила в стаканчик из бутылки и поставила на холмик. Мне она налила тоже, в другой стаканчик. Я выпил. Это была вишневая наливка.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.